

Так же неожиданно, как и мальчика, появился дед. Он на коне подъехал к мальчику и посадил его в седло, впереди себя.

Мне захотелось узнать имя мальчика, и Чингиз Айтматов спросил старика.

— Аскар, — ответил тот.

— Знаете, Чингиз Торекулович, будь у мальчика из «Белого парохода» имя, оно спасло бы его.

— Ты, пожалуй, прав. Но что я мог поделать, если никакое имя ему не подходило.

Я спросил Чингиза Айтматова, не думает ли он, что когда-нибудь расстанется с темой детства.

— А почему я должен с ней расстаться? Но хочу объяснить: я пишу не о детстве, а детством, ибо убежден: нельзя писать о чем-то, а обязательно — чем-то.

— Что значит — «писать детством»?

— Видимо, тут дело в мироощущении, в восприятии жизни, которую ребенок, стихийный поэт по природе, не «фотографирует», а творит — обновляет заново. Я чувствую эти горы и, надеюсь, понимаю их язык. Горы, не очеловеченные любовью, — мертвые камни.

— А океан? Как вы «почувствовали» его?

— Океан — тоже стихия.

— Но если в горах человек живет, вынужден, что ли, жить, то...

— ...зачем он входит в океан, а не созерцает его с берега? Убежден, что не только и не столько азарт охотника-добытчика заставляет человека выходить в океан. Его влечет грозная поэзия борьбы с природой, чей вызов он принимает, как

вызов судьбы, как зов любви. Здесь, в океане, явилось Органу чудесное видение Рыбы-женщины. Здесь он может мыслить широко и свободно, отрешившись от всяческой реальности, быта, вообще житейской прозы.

— Но он-то знает опасность, какая таится в океане?

— Именно поэтому. Лежа на пирине, можно в лучшем случае соображать. Мыслить можно перед лицом стихии. А потом из-за что ему держать обиду? Это честный поединок. И в нем мало просто выстоять. Нужно победить.

— Но ведь...

— Гибель моих героев — не поражение. Трагедия? Да. Но в эту минуту, ради которой и стоит жить, они испытали необыкновенное величие духа.

— Человек, чтобы победить стихию, должен быть по крайней мере равен ей?

— Нет, стать выше ее. Но не как укротитель (стихию укротить нельзя), а как человек. Слепо равнодушной ярости океана он может противопоставить мужество и достоинство человека. Если говорить о философии Органа — это философия действия. Он подчиняется закону жизни, законам честного поединка.

— До конца?

— Но не любой ценой. И в последнее мгновение жизни он должен оставаться человеком.

— Но он, в сущности, прожил свою жизнь, ему не на что жаловаться. А не возненавидит ли, не проклянет ли океан, отнявший у него самых близких людей, его внук, Кириск?

— Нет. Перед тем, как «уйти», взрослые преподали мальчику великий урок долга, отваги и человеческого братства. Это «немой» урок. Но тут и не нужны слова. Это «урок» — от сердца к сердцу.

— Между тем главная тайна Органа — его страсть к Рыбе-женщине — ушла вместе с ним. Да и вряд ли он мог бы выразить ее. Значит, для Кириска она останется неизвестной?

— Как знать, какие еще уроки преподаст будущему охотнику море. Рыба-женщина — символ бессмертной любви, поэзии жизни. Ее достоин самый благородный и смелый. Я уверен, ничто прекрасное, пережитое хотя бы одним человеком, не исчезает из жизни. Но также верно, что человек, ненавидящий красоту, природу, сам исключает себя из жизни.

— Как Орозкул, например, который в слепой ярости был готов расстреливать из автомата птиц, невольных свидетелей, мешающих ему предаваться сладострастию пьяного отчаяния?

— Как я теперь понимаю, Орозкул не так страшен и опасен, как Сейдахмат. Помнишь этот персонаж в «Белом пароходе»? Когда я писал повесть, этот герой мне самому казался эпизодическим, не более того. А потом я прочел у одного критика, что он-то, по его мнению, и явился главным режиссером-provokатором всей трагедии. Пожалуй, верное наблюдение. Орозкул — случай в общем уже очевидный. А вот мимикрия Сейдахмата, прикидывающегося безобидным добряком (а на са-

мом деле он органический враг красоты, жизни), до поры ставит его вне морально-этических норм и оценок. Его подлинную сущность не увидишь невооруженным глазом.

— Но будущего — детей — вы лишили все-таки одного Орозкула...

— Э, если бы лишать будущего всех подлецов, негодяев и прочих антилюдей было в чей-нибудь власти... Да и власть искусства в другом: быть верным правде жизни. Есть вещи, события, явления, которые представляются невозможными, пока они не случаются. Но я тогда в них трудно поверить. Я хочу сказать, что в принципе нельзя понять правду жизни только «глазами», но прежде всего сердцем.

— Но, согласитесь, закрывает глаза на правду тот, кто «берет» свое сердце, вернее сказать, свой душевный покой.

— Человек, если он хочет быть достойным звания человека, должен «требовать» от себя сам. Но знать, что, не «требую» от себя сверхусилий для постижения всей правды жизни, удовлетворяясь лишь доводами примитивно здравого смысла, он добровольно отказывается от истинного счастья, — сказать это человеку долг искусства. Сказать, не унижая снисходительностью к возможным слабостям, отчаянию отдельного человека, но с неизбывной верой в гениальные силы души человеческой. И тем самым подвигнуть человека к неизбежности суровых испытаний, самая мысль о которых не

должна лишать его воли, а, напротив, наполнять сердце пылкой готовностью и радостью борьбы, ибо только так он сможет обрести поэзию правды.

К чему это обязывает писателя? «Не льстить читателю, изображая человека (а ведь читатель, по всемоу проницательному замечанию Роллана, читает не книгу, а ищет в книге себя)» обязательно прекрасным, правды, не без некоторых легкоустраняемых недостатков, или предлагая ему в утешение облегченно благополучное решение нередко сложнейших проблем реальной жизни в духе литературных сказок со «счастливым концом».

— Помнится, один критик заподозрил вас в жестокости, искренне убежденный, что вы, автор, могли, да не пожелали «распорядиться» судьбой мальчика в «Белом пароходе» по своему усмотрению. И он же в отчаянном порыве праведного негодования восклицал что-то вроде: «Как же нам-то жить теперь, зная, что погибают дети?»

— Так ведь я и стремился к тому, чтобы этот вопрос со всей неотвратимостью встал перед читателем.

— Вы не думали, что весьма рискуете?

— Рискуешь всякий раз, берясь за новую вещь. Признаться, писателем быть, ох как страшно: читатель ждет от тебя нового слова. А вдруг не оправдаешь его доверия?

Но без доверия было бы неинтересно писать дальше. — А куда «дальше»? Я вот что имею в виду: герои

вашей последней повести «Пегий пес...» прошли испытание океаном. Но ведь и вы с ними. Теперь, вернувшись на «землю», не намерены ли вы...

— ...Отправиться к звездам, ты хочешь спросить? Нет, хотя среди моих замыслов был один подобного рода, но я не фантаст по призыванию. Меня интересует реальный человек на реальной почве. Если же говорить об испытаниях души, то еще вопрос, кто переживает острее и глубже: герои, скажем, Азимова или герои Распутина? Впрочем, вопрос не для меня.

— Но ведь драма чувств, которую испытывает герой, так сказать, реальный, может быть вызвана и «звездной тоской», не так ли?

— Несомненно, как и то, что «обыкновенный» человек равен тому, кто открывает звезды, если он стремится быть человеком в полном смысле этого слова. И наоборот. Профессия не имеет никакого значения. Во всяком случае не должна бы иметь.

Вспоминаю слова Чингиза Айтматова о том, что высшее достоинство человека — ум, открытый свободой.

— Что может быть печальнее самоотречения человека от величайшего дара природы — дара мыслить? Ведь это отказ от себя, от человека. А стало быть, от истории, от культуры, ибо, не мысля, мы, увы, не существуем.

— Как и без памяти детства?

— Как день не может на-

ступить, если не было расцвета... Человек, который мыслит, неизбежно и неотвратимо оказывается одинажды один на один с собственной судьбой. Каждый знает о себе, когда он жил мелко, пошло, с ухмылкой — и все это, воспринимавшееся когда-то как пустяк, шалость, вдруг отзывается краской жгучего стыда, о чем не хотелось бы вспоминать.

— Но, значит, никому не дано прощения?

— Нет, не значит. Здесь-то и необходимо мужество. Лишь бы это не было «мужество» кающегося грешника, заранее решившего, что наступит время, когда он позволит себе это предпринять. Не покаяние, но суд совести. Как после этого жить? Как жить без этого?

— Если говорить о ваших героях, то не имеете ли вы в виду, в частности, Толгонай из «Материнского поля» и Танабая в «Прощай, Гульсары»?

— И их тоже. Но больше — того героя, образ которого мне хотелось бы создать.

Знаю, что Чингиз Айтматов не любит говорить о вещи, над которой он теперь работает. И все же спрашиваю.

— Расскажешь, — отвечает он, — потом неинтересно писать.

Молча прощаемся с горами. Радуги уже давно нет. А была ли она? Была. Я помню ее и теперь. Ее мне подарил Чингиз Айтматов.

Владимир КОРКИН.
ФРУНЗЕ — МОСКВА.